



Остережемся при слове “пытка” корчить тотчас же угрюмую рожу: как раз в этом случае есть что не скидывать со счетов, есть что заложить впрок — есть даже над чем посмеяться.

НИЦШЕ “*К генеалогии морали*”<sup>1</sup>



# Глава 1

**Я** шпион, невидимка, тайный агент, человек с двумя лицами. Еще (что, наверное, неудивительно) я человек с двумя разными сознаниями. Я не какой-нибудь непонятый мутант из комиксов или фильма ужасов, хотя некоторые примерно так ко мне и относятся. Я просто умею видеть любой спорный вопрос с обеих сторон. Иногда я льщу себе, мысленно называя это талантом — пусть и не из самых завидных, но других талантов у меня нет. Однако потом я вспоминаю, что не способен смотреть на мир иначе, и меня одолевают сомнения: а стоит ли считать это талантом? В конце концов, талант — это то, чем пользуетесь вы, а не то, что пользуется вами. Талант, которым вы не можете *не* пользоваться, который поработил вас, — это скорее опасный недостаток. Но в том месяце, с которого стартует это признание, мой взгляд на мир еще казался скорее добродетелью, нежели пороком, как оно и бывает поначалу со всеми добродетелями.

Итак, на дворе был апрель, жесточайший месяц. Это был месяц, когда нашей войне, продолжавшейся уже очень долго, предстояло лишиться своих щупалец, что рано или поздно случается с каждой войной. Месяц, который имел огромное значение для обитателей нашей маленькой страны и не имел никакого значения для большинства обитателей всех остальных стран. Месяц, который был концом войны и началом, э-э... мир ведь не очень подходящее слово, не правда ли, уважаемый комен-

дант? Месяц, когда я ожидал конца за стенами виллы, где прожил семь предыдущих лет, — теперь эти стены блестели осколками битого коричневого стекла, а поверх них тянулась ржавая колючая проволока. На этой вилле у меня была собственная комната — да-да, комендант, прямо как здесь, в вашем лагере. Только здесь эта комната называется одиночной камерой, а вместо служанки, приходившей убирать каждый день, вы приставили ко мне круглолицего охранника, который вовсе ничего не убирает. Но я не жалуясь: ведь тому, кто пишет признание, нужна не чистота, а покой.

На генеральской вилле мне хватало покоя ночью, но отнюдь не в дневное время. Я был единственным из офицеров, кто жил в доме генерала, единственным холостяком из его штаба и самым надежным его помощником. По утрам я отвозил генерала на работу, но прежде мы завтракали вместе, разбирая донесения на одном краю тикового обеденного стола, тогда как его жена на другом приглядывала за хорошо вышколенным квартетом детей в возрасте двенадцати, четырнадцати, шестнадцати и восемнадцати лет — еще одна дочь училась в Америке, и ее стул пустовал. Возможно, еще не каждый опасался конца, но генерал благоразумно его предвидел. Худощавый, с великолепной выправкой, он был воякой-ветераном с целой коллекцией медалей, в его случае заслуженных. Хотя на руках у него осталось всего девять пальцев, а на ногах восемь — три были отняты пулями и шрапнелью, — никто, кроме его родных и особо доверенных лиц, не знал о состоянии его левой ноги. Практически все его честолюбивые стремления удовлетворялись, если не считать желания раздобыть бутылку отличного бургундского и выпить ее с друзьями, понимающими, что в вино не обязательно класть кубики льда. Он был эпикуреец и христианин, именно в таком порядке, — человек, верующий в гастрономию и Бога, в свою жену и детей, а еще во французов и американцев. С его точки зрения, они научили нас гораздо более полезным вещам, чем другие иностранные шаманы, загипнотизировавшие наших северных братьев и часть южных: Карл Маркс, В. И. Ленин и Председатель Мао. Не то чтобы он читал кого-нибудь из этих мудрецов: обеспечивать его выписками из “Манифеста Коммунисти-

ческой партии” или “Красной книжечки” входило в мои обязанности адъютанта и молодого офицера-интеллектуала, а он сам лишь пользовался плодами моих изысканий, чтобы продемонстрировать знание вражеской психологии. Он никогда не упускал случая процитировать свой любимый ленинский вопрос: господа, говорил он, постукивая по очередному столу маленьким стальным кулаком, *что делать?* Сообщать генералу, что на самом деле этот вопрос поставил Чернышевский, озаглавив им свой знаменитый роман, казалось неуместным. Кто нынче помнит Чернышевского? Считаться следовало с Лениным — человеком действия, который отнял этот вопрос и превратил его в свою собственность.

В этом мрачнейшем из всех апрелей перед генералом вновь встал вопрос, что делать, и теперь, в отличие от всех предыдущих случаев, он не нашел на него ответа. Его, ярого апологета *mission civilisatrice*<sup>2</sup> и Американского пути, наконец укусила блоха сомнения. Зеленовато-бледный, похожий на малярийного больного, он бродил по своей вилле, мучаясь непривычной бессонницей. Наш северный фронт смяли еще в марте, и с тех пор он частенько возникал на пороге моего кабинета или комнаты на вилле, дабы поделиться со мной последними новостями, неизменно плохими. Вы можете в это поверить? — восклицал он, на что я отвечал одним из двух: нет, сэр! или: это невероятно! Мы не могли поверить, что славный живописный городок Буонметхуот в горах, кофейную столицу, где я родился, разграбили в начале марта. Не могли поверить, что наш президент Тхьеу — имя, которое так и хочется выплюнуть, — по какой-то непостижимой причине отдал нашим войскам, защищающим горные районы, приказ об отступлении. Не могли поверить, что пали Дананг с Нячангом и что наши солдаты, в панике пробиваясь на баржи и лодки, стреляли в спину мирным жителям. Уединившись в своем укромном кабинете, я прилежно фотографировал эти отчеты, чтобы порадовать ими Мана, моего куратора. Как свидетельства неизбежной эрозии режима они радовали и меня, но я волей-неволей сочувствовал

2 Цивилизаторской миссии (*фр.*).

этим несчастным людям. Возможно, с политической точки зрения переживать за них и не стоило, но среди них могла бы оказаться моя мать, будь она жива. Она была из бедных, растила бедного ребенка — меня, а бедных никто не спрашивает, хотя ли они войны. И этих бедняков никто никогда не спрашивал, что они предпочитают: умереть от зноя и жажды в море у побережья или подвергнуться грабежам и насилию со стороны тех, кто вызвался их защищать. Если бы кто-нибудь из этих тысяч ожил после смерти, он не поверил бы, что она настигла его таким образом, как мы не могли поверить, что американцы — наши друзья, благодетели, союзники — отклонили нашу просьбу о новой финансовой помощи. Да и на что пошли бы у нас эти деньги? На боеприпасы, бензин и запчасти для оружия, танков и самолетов, которыми те же американцы снабдили нас даром. Обеспечив нас шприцами, они — вот негодяи! — вдруг перестали давать нам наркотик (за подарки, пробормотал генерал, всегда приходится платить дорогой ценой).

Под конец наших обсуждений и трапез генерал прикурил от моей зажигалки “Лаки страйк” и замирал, глядя в пространство, пока сигарета медленно тлела у него в пальцах. В середине апреля, когда ожог горячим пеплом вывел его из задумчивости и он, не сдержавшись, обронил нехорошее слово, генеральша цыкнула на хихикающих детей и сказала: если ты будешь медлить и дальше, мы не выберемся. Проси у Клода самолет сейчас. Генерал притворился, что не слышал. Его супруга имела мозги-калькулятор, осанку инструктора по строевой подготовке и девичье тело даже после пятикратных родов, а экстерьер, в который все это было упаковано, понуждал наших живописцев, прошедших французскую школу, пускать в ход самые нежные тона акварели и самый расплывчатый мазок. Иначе говоря, она представляла собой образец вьетнамки. Откликом генерала на такую удачу стали вечная благодарность и вечный испуг. Потирая кончик обожженного пальца, он посмотрел на меня и сказал: думаю, пора просить у Клода самолет. И лишь когда он снова перевел взгляд на пострадавший палец, я покосился на генеральшу, которая просто подняла бровь. Хорошая мысль, сэр, ответил я.

Клод был нашим ближайшим американским другом. Мы состояли в самых доверительных отношениях — как-то раз он даже признался мне, что на одну шестнадцатую он негр. Так вот оно что, сказал я, тоже захмелевший от теннессийского бурбона, теперь ясно, почему у вас черные волосы и так здорово ложится загар, и почему вы танцуете ча-ча-ча не хуже любого из нас. Та же история была с Бетховеном, добавил он: шестнадцатая часть. Ага, сказал я, теперь ясно, почему *“Happy Birthday”* в вашем исполнении — это прямо концертный номер. Мы с ним были знакомы больше двух десятков лет; еще в пятьдесят четвертом он увидел меня на барже среди беженцев и распознал мои способности. Девятилетний да ранний, я уже прилично болтал по-английски, научившись этому у одного из первых американских миссионеров. В ту пору официальной работой Клода была помощь беженцам. Теперь он входил в штат американского посольства и формально занимался развитием туризма в нашей истерзанной войной стране. Для этого, как вы понимаете, ему приходилось до последней капли выжимать платок, вымоченный в поту делового и не знающего сомнений американского духа. В действительности же Клод был цээрешником, подвизавшимся у нас еще со времен французской империи. Еще тогда, когда ЦРУ называлось УСС, Хо Ши Мин обратился к ним за помощью в борьбе с Францией. Он даже процитировал их отцов-основателей в Декларации независимости нашей страны. Враги Дядюшки Хо считали, что на языке у него одно, а на уме другое, но Клод полагал, что видит его насквозь. Я позвонил Клоду из своего кабинета в двух шагах от генеральского и сообщил ему по-английски, что генерал потерял всякую надежду. По-вьетнамски Клод говорил плохо, по-французски еще хуже, но его английский был безупречен. Я отмечаю это лишь потому, что далеко не обо всех его соотечественниках можно сказать то же самое.

Все кончено, заявил я Клоду, и после этих слов сам полностью осознал, что так оно и есть. Я думал, Клод станет возражать и обещать, что мы еще увидим в небе тучи американских бомбардировщиков или что американские ВДВ скоро примчатся спасать нас на боевых вертолетах, но Клод меня не разочаро-



вал. Попробую что-нибудь устроить, сказал он на фоне смутного гула голосов. Наверное, в посольстве царила сумятица: измотанные чиновники, перегретые телетайпы, срочные депеши, летающие туда-сюда между Сайгоном и Вашингтоном, и такой густой смрад поражения в воздухе, что с ним не в силах справиться даже кондиционеры. Если не считать редких вспышек, Клод хранил спокойствие; он жил здесь так давно, что почти не потел, несмотря на тропическую сырость. Он мог подкрасться к вам незаметно в темноте, но ему никогда не удалось бы стать невидимкой в нашей стране. Он тоже был интеллектуалом, но особого, американского типа — разрядник по спортивной гребле, супермен с рельефными бицепсами. Тогда как наши умники обыкновенно отличались хилостью, бледностью и близорукостью, Клод при росте под метр девяносто имел орлиное зрение и держал себя в форме, каждое утро сажая на закорки своего слугу, мальчишку-нунга, и выполняя с ним по двести отжиманий. В свободное время он читал — когда он приходил на нашу виллу, под мышкой у него всегда торчала книга, обернутая в грубую почтовую бумагу, как порнуха или школьный учебник. Через несколько дней он явился к нам с “Азиатским коммунизмом и тягой к разрушению по-восточному” Ричарда Хедда.

Книга предназначалась для меня, генерал же получил бутылку “Джек Дэниелс” — я тоже предпочел бы ее, будь у меня выбор. Тем не менее я внимательно изучил обложку, пестрящую дифирамбами; их авторы захлебывались от восторга, точно пятнадцатилетние пигалицы из фан-клуба, но на самом деле это счастливое чириканье исходило от парочки министров обороны, сенатора, приехавшего в нашу страну на две недели “за фактами”, и известного телеведущего, который перенял свою манеру речи у Моисея в исполнении Ричарда Хестона. Причина их ликования крылась в увесистом подзаголовке: “Как понять и победить марксистскую угрозу в Азии”. Клод сказал, что это практическое пособие сейчас читают все, и я пообещал тоже с ним ознакомиться. Генерал с треском вскрыл бутылку; он не был расположен к обсуждению книг и прочей пустой болтовне в столице, окруженной восемнадцатью вражескими диви-

зиями. Он желал услышать о самолете, и Клод, катая в ладонях стаканчик с виски, сказал, что может предложить нам лишь черный, то есть незарегистрированный, рейс на С-130. В нем размещаются девяносто два парашютиста со снаряжением — это было прекрасно известно генералу, ибо, прежде чем возглавить по просьбе президента Национальную полицию, он служил в воздушно-десантных войсках. Беда в том, объяснил он Клоду, что у него одной родни пятьдесят восемь человек. Конечно, не все они хороши — честно говоря, некоторых он даже презирает, — но жена никогда не простит ему, если он не спасет их всех.

А как же мой штаб, Клод? — спросил генерал на своем чистом, церемонном английском. Что будет с ними? Оба устремили взгляды на меня. Я постарался изобразить на лице отвагу. Я не был в штабе старшим по званию, но как адъютант генерала и офицер, ближе всех остальных знакомый с американской культурой, присутствовал на каждой его встрече с американцами. Кое-кто из моих земляков говорил по-английски не хуже меня, хотя и с легким акцентом, но почти никто не мог, подобно мне, обсуждать текущую ситуацию в чемпионате по бейсболу, ужасное поведение Джейн Фонды или преимущества “Роллинг стоунз” перед “Битлз”. Если бы американец послушал меня с закрытыми глазами, он решил бы, что я один из них. В телефонных разговорах меня и впрямь часто принимали за американца. Затем, при личной встрече, мой собеседник неизменно изумлялся моему облику и почти всегда спрашивал, где это я научился так здорово говорить по-английски. В нашей рисово-банановой республике это воспринималось как особая привилегия: штатники ожидали увидеть во мне типичного представителя тех миллионов, которые либо вовсе не знали английского, либо нещадно его коверкали. Меня эти ожидания раздражали, а потому я никогда не упускал случая показать, как свободно я владею их языком и в письменной, и в устной форме. Мой лексикон был богаче, а грамматика — правильнее, чем у среднего образованного американца. Я понимал оттенки речи в любом регистре, и когда Клод назвал своего посла, не желающего признавать неизбежность ката-